

МОЛЧАНИЕ

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

Молчание

<https://litres.ru/74193007>

SelfPub; 2026

Аннотация

Медсестра неонатальной реанимации Вера всю жизнь верила приборам больше, чем людям, — приборы не уходят ночью, не забывают и не ошибаются. Её восьмисотграммовая дочь Мия дышит через трубку, а над цифровым госпиталем полностью цифрового города стоит непроницаемая, гордая тишина новых технологий. В одну зимнюю ночь эта тишина оборачивается другой: над планетой встаёт странная глушь, гаснут спутники, потом сотовая связь, потом сеть, потом — всё. Аппараты умирают в одну секунду. Восемь кувезов, три часа кислорода, старуха-инженер с латунным ключом на шее и глухой подросток, слышащий беду сквозь бетон, — единственное, что стоит между восемью младенцами и наступающей темнотой.

Содержание

Часть первая. Ниже порога	4
Часть вторая. Волна гаснущих тревог	14
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Эдуард Сероусов

Молчание

Часть первая. Ниже порога

Вера считала вдохи по секундомеру, потому что секундомеру можно было верить.

Аппарат тоже считал. Выводил на экран ровные бирюзовые цифры, рисовал синусоиду, что поднималась и опадала, как чужая уверенная грудь. Но экран умел лгать красиво, а секундомер — латунный, тяжёлый, с волосяной трещиной в стекле — лгать не умел вовсе. Он отсчитывал только то, что было. Дед-часовщик оставил ей эту вещь и это правило: доверяй тому, что не притворяется.

Сорок две в минуту. Она сняла подушечку большого пальца с головки, и стрелка стала.

В кувезе под мягкой лампой лежала Мия. Восемьсот девяносто граммов, кожа тоньше папиросной бумаги, грудная клетка размером с Верин кулак. Трубка ИВЛ уходила в рот, подклеенная у губы, и дышала за дочь ровно, терпеливо, лучше, чем сумели бы Верины руки. Вера смотрела на этот вдох, отмеренный машиной, и он казался ей честнее любви. Любовь дрожит. Машина — нет.

В блоке было темно и тепло, как в улье. Восемь кувезов

светились изнутри мягким светом, восемь мониторов чертили восемь синусоид, и всё это тихо гудело, попискивало, дышало — электронный улей, в котором Вера знала каждую ноту. Ночная смена была её выбором. Днём здесь толпились матери, ординаторы, обходы; ночью оставались только она, две сестры и машины, и в этой чистой, считаемой тишине Вера чувствовала себя на месте. Двенадцать лет она выхаживала чужих детей и научилась не привязываться — привязанность искажает расчёт, а расчёт спасает. К собственной дочери это правило не применялось, и оттого было вдвойне страшно.

Двадцать шесть недель. Её тело сдалось на двадцать шестой, само, без предупреждения: подскочило давление, забелел в анализах распад, и врачи, коллеги, с которыми она пила чай в ординаторской, вдруг заговорили с ней тем осторожным голосом, каким говорят с пациентами. «Мы вынуждены родоразрешить». Её вынули из собственного расчёта, как ненадёжное звено. Она, которая двенадцать лет держала чужих детей на этом свете, не сумела удержать своего внутри положенного срока. Тело подвело. Тело — оказалось человеком, а не машиной. С тех пор Вера верила телу ещё меньше, чем людям.

Антон ушёл раньше, чем родилась Мия. Собрал сумку ночью, пока Вера лежала на сохранении, и утром прислал сообщение — не позвонил, написал, буквами, — что не потянет «вот это всё». «Вот это всё» весило теперь восемьсот де-

вяносто граммов и дышало через трубку. Вера не плакала тогда и не собиралась плакать теперь. Она сделала из этого вывод, короткий и ясный, как показание прибора: люди уходят и ошибаются. Приборы — остаются и считают. Она построила вокруг себя стену из машин и внутри этой стены растила дочь.

За стеклом поста мигнул монитор. На соседнем кувезе взвыла тревога — резко, испуганно, по-человечески.

— Апноэ, — Даша вскочила, молодая, с расширенными зрачками. — Третий бокс, у Соколовой...

— Не апноэ. — Вера уже смотрела на кривую. — Датчик отклеился. Сатурация девяносто шесть, посмотри на пульс — ровный. Ребёнок спит. Это спит аппарат, а не он.

Даша сглотнула, поправила датчик, тревога умолкла. Страх в этой девочке жил ближе к коже, чем знание; это либо проходит за первый год, либо выгоняет из реанимации в чистую хирургию, где всё видно глазом. Вера успела пови-
дать и то и другое. Она уже отвернулась к Мие, когда экран мигнул снова. Не так, как мигают экраны.

Цифры не погасли — они на долю секунды рассыпались. Восьмёрки стали решёткой, синусоида дёрнулась, будто её схватили за нитку, и собралась обратно. Полсекунды. Меньше. Кто угодно списал бы это на помеху в сети.

Вера не списала. Она слишком долго жила рядом с приборами, чтобы не чувствовать, когда они врут не по-своему, а по-чужому. Она вынула секундомер, щёлкнула, посчитала

вдохи Мии заново — сорок две, — и только тогда позволила себе выдохнуть. Аппарат снова говорил правду. Пока говорил.

Это была не помеха.



В коридоре пахло тёплым молоком и озоном от кварцевых ламп. Вера шла в молочную мимо стеклянной стены, за которой спал новый корпус — весь из света и сенсоров, гордость города.

Полгода назад тут водил экскурсию Котов.

«Мы — первый полностью цифровой стационар в регионе, — говорил директор, и бейдж на синей ленте покачивался у него на груди, как медаль. — Ни одной бумажной карты. Ни одного лишнего провода. Здание думает за нас». Он вёл их, врачей и сестёр, сквозь новый корпус, как хозяин ведёт гостей по дому, и останавливался у каждой панели, у каждого экрана, и всё касался их — легко, по-хозяйски. У дверей старого резервного крыла он задержался. За стеклом стояли ручные редукторы, чугунные вентили, стойка с зелёными баллонами, чёрный телефон с диском, стеллаж инструкций в картонных папках. «А это, — он улыбнулся, — музей. Мы его расформировываем: площадь дорогая, а толку ноль. Кому в двадцать первом веке нужен телефон, который надо крутить пальцем?»

Кто-то засмеялся. И тогда из задних рядов, где стояли отставники и приглашённые «старые кадры», подала голос су-

хая старуха с латунной висюлькой на шнурке — Вера не знала её тогда, только отметила ключ.

«Тому, — сказала старуха, — кому придётся однажды позвонить, когда не станет ни сети, ни света, ни вашего облака. Провод живёт под любым шумом. Уберёте резерв — уберёте не музей, а последний способ дозваться друг друга».

Котов улыбнулся ей мягко, как улыбаются пожилым, отнявшим минуту у будущего. «Мы строим цифровой дом, Нина Сергеевна, а не бомбоубежище». И повёл группу дальше, и все пошли, и Вера пошла тоже. Она тогда кивнула вместе со всеми. Машины не устают. Машины не забывают. Машины не собирают сумку ночью, пока ты спишь. Она знала цену человеческой надёжности до грамма и не собиралась переплачивать.

У окна в конце коридора стояли двое, которых она про себя привыкла обходить.

Старуха — Нина Сергеевна, бабушка мальчика из неврологии — держала телефон на вытянутой руке и смотрела в него так, как смотрят на сломавшийся барометр. На шнурке у неё вместо кулона висела странная штука: латунная лапка на чёрной колодке, отполированная пальцами до блеска. Вера как-то спросила — старуха ответила: «Телеграфный ключ. Чтобы помнить, что говорить можно и без голоса, и без неба над головой».

Рядом стоял внук. Тимур, лет пятнадцати, наушники на шее — Вера ни разу не видела их надетыми, они висели там,

кажется, как щит: пока они на тебе, никто не спросит, слышишь ли ты. Ладонь мальчик прижимал к оконному стеклу, всей пятернёй, и смотрел не в телефон бабки, а сквозь своё отражение, в спящий город. Он был глухой. Вера знала это и не знала, что с этим знанием делать: её ремесло держалось на звуке — на пiske, на тревоге, на слове, — а он жил там, где ничего этого не было, и, кажется, жил спокойно. Это спокойствие её раздражало, как раздражает исправный прибор, показывающий не то, что ты хочешь.

Она не умела с ним говорить. Не знала жестов, не доверяла запискам, а главное — не понимала, как быть с человеком, у которого нельзя спросить и от которого нельзя услышать то короткое «всё нормально», на котором держится любая смена. Тишина Тимура казалась ей неисправностью, которую забыли устранить. Она ловила себя на том, что при нём говорит чуть громче, чуть отчётливее, будто громкостью можно пробить глухоту, — и злилась на собственную глупость. Мальчик смотрел на её губы спокойно, без обиды, как смотрит взрослый на ребёнка, который всё никак не научится простому, — и это переворачивало привычный порядок так, что Вере делалось не по себе. Здесь, в её мире приборов и звуков, глухой была словно бы она.

— У вас тоже врёт? — спросила Нина Сергеевна, не обращившись.

— Что врёт?

— Навигация. — Старуха развернула экран. Синяя точка

«вы здесь» ползала по карте кругами, не находя себя. — И у санитарки внизу. И у мальчишки в приённом, он в игру не может войти — сервер, говорит, не отвечает. У всех сразу. А знаете, когда у всех сразу — это уже не у всех. Это над всеми.

— Спутники. — Вера пожалала плечами. — Перегрузка, магнитная буря. К утру починят.

— Чинить будет некому и нечем. — Нина Сергеевна сказала это буднично, без нажима, и оттого холодок прошёл раньше смысла. — Слушайте, как оно идёт. Сначала врёт то, что тоньше всего, — точное время, точное место. Самые чистые, самые высокие голоса. Спутник ведь шепчет; его слышно, только пока вокруг тихо. Станет шумно — первым замолчит шёпот, а крик подержится дольше. Шум идёт сверху вниз. С высоких частот на низкие. С умного на простое. Сегодня врёт навигатор. Завтра замолчит сотовый. Послезавтра — то, что держит в такт электростанции.

— Вы инженер?

— Была. — Тонкие губы дрогнули. — Резильентщик. Тридцать лет строила то, что держится, когда падает всё остальное. Ваш директор называет мои узлы музеем. — Она усмехнулась. — Дитя моё, музей — это то, что переживает тех, кто вешал таблички.

Тимур снял ладонь со стекла и посмотрел на бабку. Пальцы его двинулись — быстро, точно, выхватывая слова из воздуха. Нина Сергеевна ответила руками, не переводя, и Вера ощутила себя лишней при чужом разговоре, которого не

слышно, — как глухая. Мысль эта её кольнула, и она её отбросила.

— Что он говорит?

Старуха помедлила.

— Что стекло дрожит, — сказала она наконец. — Он это чувствует ладонью. Ровный гул, которого нет для нас с вами. — Она посмотрела на Веру прямо, и в глазах её не было ни капли стариковской растерянности. — Он всегда чувствует раньше. Тишина — его язык, а в чужом языке замечаешь то, чего носитель не слышит. Мы с вами живём в шуме и потому шума не слышим. А он слышит.

Верин пейджер дёрнулся — старый, вибрирующий, ещё из тех, что Котов не успел списать. Её звали в блок. Она была почти рада уйти.



Часы на стене в конце коридора показывали 03:12 и синюю точку синхронизации со спутником. Вера прошла под ними — и краем глаза поймала, как точка мигнула и погасла. Цифры замерли на 03:12. Потом дёрнулись, показали 88:88, показали пустоту, где раньше было время.

Она остановилась.

За спиной Тимур вдруг отнял ладонь от стекла — резко, будто обжёгся, — и обернулся в глубину коридора, туда, откуда ни один слышащий человек не слышал бы ничего.

— Нина Сергеевна. — Вера сама не заметила, как назвала старуху по имени. — Что у вас за узлы?

— Немые. — Старуха уже сворачивала бесполезный телефон, пряча его, как прячут то, чему больше не верят. — Станция за рекой, ещё несколько по области. Реле. Не убежища — реле: если их сшить, они передают друг другу без всякого неба над головой. По проводу, по низкой частоте, по руке. Я их делала не для разговоров. Я их делала, чтобы там можно было жить, когда погаснет остальное: своё электричество от магнето, вода, тепло. И воздух. В глухой школе за рекой поставила кислородный концентратор — простой, чугунный, крутится хоть от руки, хоть от велосипедной цепи. — Она поймала Верин взгляд и чуть сузила глаза, будто уже знала, зачем той это. — Да. Такой, каким дышат, когда розетки мертвы.

— Их закрыли.

— Их проголосовали закрыть. — Что-то старое и жёсткое прошло по её лицу. — Была комиссия. «Экономика скорости», «избыточное дублирование». Сидел там один — из городской безопасности, бывший офицер связи, майор Кожин. Он один во всей комиссии понимал, что именно режет. Понимал — и резал. Такие хуже дураков: дурак не ведает, а этот ведал. — Она качнула латунным ключом на шнурке, и тот блеснул в аварийном свете. — Запомните фамилию, Вера. Кто своими руками резал резерв, тот первым про него вспомнит, когда станет темно. И придёт за ним не с благодарностью.

Вера подошла к окну. Город лежал внизу, как всегда, —

но что-то было не так, и она не сразу поняла что. Он гас пятнами. Не весь разом, как при обычной аварии, когда чернеет целый район, а островами, кляксами: тут погас квартал, а соседний горел; там мигнула и умерла подсветка моста, а башня рядом сияла как ни в чём не бывало. Будто по городу ползло невидимое и трогало его не подряд, а выбором, пробуя на вкус. Высоко над рекой полз огонёк самолёта — и вдруг заметался, потерял прямую, качнулся вниз и вбок, ища землю. Вера отвела глаза. Рядом Тимур опять прижал ладонь к раме и прикрыл веки, и лицо у него было не испуганное, а внимательное — лицо человека, который всю жизнь читал мир не ушами, а кожей, и теперь, когда мир оглох, наконец-то оказался дома.

Свет в коридоре загудел — тонко, на одной ноте, как перед тем, как перегореть. Где-то глубоко в здании кашлянул и завёлся генератор, и по стенам прошла мелкая дрожь.

Тимур поднял руку. Не помахал, не показал — просто поднял раскрытую ладонь, как поднимают её, требуя тишины, хотя тише уже некуда. Все трое замерли. И в этой замершей секунде Вера впервые за много лет поймала себя на том, что считает не вдохи дочери. Она считала секунды до чего-то, чему ещё не умела дать имя, — и латунный секундомер в кармане халата вдруг показался ей не памятью о дедке, а единственными часами во всём здании, которым останется верить.

Часть вторая. Волна гаснущих тревог

К четырём часам госпиталь начал сходиться с ума тихо и вежливо, как сходят с ума воспитанные люди.

Сначала перестали открываться двери. Умные замки, приученные узнавать бейджи, забыли лица. Котов — его подняли из дома, и он приехал в пальто поверх домашней рубашки, с волосами, примятыми подушкой, — стоял у дверей реанимации и тыкал картой в считыватель, снова и снова, будто настойчивость могла вернуть прибору память.

— Должен быть протокол, — говорил он, и красный огонёк считывателя равнодушно мигал в ответ. — На случай сбоя всегда предусмотрен протокол. Где системный администратор? Почему облако не отвечает?

— Облако далеко, Пал Андреич. — Вера придержала дверь ногой, потому что открыла её рукой, снаружи, механической щеколдой, которую он полгода назад не заметил под сенсорной панелью. — А мы близко. Идите в ординаторскую, не мешайте сёстрам.

Он посмотрел на неё так, будто она заговорила на языке жестов. Директор большого умного дома, у которого дом вдруг перестал думать, — и не осталось ни одной мысли, которую он умел бы додумать сам. Бейдж всё покачивался у

него на груди. Вера отвернулась.

Дом умирал по частям, и каждая часть, умирая, тянула за собой следующую. Пневмопочта, гонявшая пробы и ампулы по трубам между этажами, встала, и капсулы застряли где-то в стенах, как еда в горле. Аптечный автомат, выдававший препараты по коду, заклинило на полудвижении — ящик выехал и замер, показав пустую ячейку там, где должен был лежать адреналин. Инфузионные насосы, умные, считавшие миллилитры в час точнее любой сестры, запищали разом — «ошибка синхронизации», «проверьте линию», — и перешли на тревогу, а потом кончилась и тревога. Даже краны в моечной, с сенсором вместо вентиля, перестали давать воду: они ждали, когда датчик увидит ладонь, а датчик ослеп. Вера смотрела, как сёстры бьют руками под мёртвыми кранами, и думала о том, как много рук в этом здании разучились делать простое, потому что за них слишком долго думали вещи.

Мониторы гасли по одному — не ломались, а как-то уставали, сворачивали картинку в точку и отпускали её в темноту. Медсёстры перешли на голос и на пальцы: показывали цифры руками, перекрикивали блок, возвращались к тому, что человек делает, когда у него отняли экран. Вера ловила себя на странном спокойствии: эту работу она знала телом. Считать. Слушать грудь ухом, приложенным к рёбрам. Держать. Где-то в глубине она даже почувствовала злую радость — вот, значит, чего стоят ваши панели, — и тут же устыди-

лась её, потому что цена этой правоты лежала в кувезах.

ИБП держали. Потом сдались и они, и с гулом принял на себя нагрузку дизель в подвале — и на минуту стало почти хорошо. Лампы притухли до аварийного жёлтого, аппараты качнулись и выровнялись. «Ещё держимся», — сказал кто-то, и Вера кивнула. Резерв подхватил. Система поймала себя за руку. Так и должно быть, так её и строили: эшелон за эшелон, и за каждым отказом — ещё одна сеть, готовая поймать.

Вера почти успокоилась. Она всю жизнь верила в эту логику — что за отказом стоит резерв, за резервом ещё резерв, что система, как и она сама, никогда не остаётся без запаса хода. Сёстры уже приноровились: считали пульс по часам с секундной стрелкой, писали назначения на клеёнке, грели растворы в тазу с горячей водой. Двенадцать лет цифровой медицины сползли с них за час, обнажив старое, простое, ручное ремесло, которое, оказывается, никуда не делось — просто лежало под спудом, как музей за стеклом. Ещё держимся, думала Вера. Ещё держимся.

Она вернулась к Мие. Синусоида шла. Сорок две. Секундомер подтвердил: сорок две. Мир на минуту сузился до этой цифры, и цифра была верна, и этого было почти достаточно.

В дверях появилась Нина Сергеевна. Она не спрашивала разрешения — вошла, как входят туда, где уже понимают больше, чем врачи, и встала, глядя не на детей, а вверх, на дрожащие лампы, будто читала по ним.

— Заглушите генератор, — сказала она.

— Что? — Вера обернулась.

— Заглушите его сами, сейчас, вручную, пока он не убил вам всё разом. — Голос старухи был ровным, и от этой ровности мороз шёл вперёд слов. — Спутники давали точное время. По этому времени жила сеть — вся, до последней подстанции: тысячи машин качали ток в один такт, потому что все смотрели на одни часы. Часы погасли. Такт рассыпается. Сеть сейчас начнёт рвать саму себя — скачками, судорогой, — и ваш дизель тоже умный, он тоже слушает сеть, ловит её частоту. Он поймает эту судорогу и передаст дальше, в ваши стены, в ваши аппараты, все сразу...

Она не успела договорить.



Это пришло волной, и у волны был звук — вернее, у неё было отсутствие звука, накатывавшее слева направо по блоку, как гасят свет в длинном зале, ряд за рядом.

Сначала захлебнулся дальний монитор. Потом два ближе. Потом тревоги — все тревоги разом, которые должны были закричать, — не закричали. Они умерли раньше, чем успели испугаться, и это было страшнее любого крика: реанимация, полная умирающих сигналов, обрушилась в тишину, какой здесь не было никогда за все годы. Погас жёлтый аварийный свет. Встали насосы. Синусоида на аппарате Мии поднялась в последний раз, задержалась на верхней точке, будто раздуваемая, — и легла в прямую. И прямая погасла тоже.

Темнота. И вата в ушах вместо воздуха.

В соседнем боксе закричала мать — коротко, зверино, — и крик утонул, не встретив эха: мягкие стены, мёртвые машины, ничего, что вернуло бы звук назад.

По всему блоку разом смолкли все восемь мониторов, все восемь аппаратов, вся электронная жизнь, что двенадцать лет пела здесь на одной ноте, — и наступившая тишина была не пустой, а плотной, давящей, как вода на глубине. Вера впервые услышала, как звучит реанимация без единого прибора: слабый детский писк, шорох, чьи-то шаги, стук собственного сердца. Так, наверное, звучали больницы сто лет назад. Так они звучали всегда, пока люди не научились заглушать этот страшный тихий звук мерным писком машин, чтобы не слышать, как хрупка на самом деле каждая ниточка. Где-то падало железо. Кто-то звал доктора. А Вера стояла над кувезом, в котором её дочь больше не дышала, и слышала одно-единственное — тиканье латунного секундомера в кармане халата, единственного механизма во всём здании, которому не нужны были ни ток, ни небо, ни точное время, чтобы идти дальше.

Аппараты, которым она верила больше, чем людям, предали её все сразу, в одну секунду, честно и окончательно. Стена, которую она строила двенадцать лет, легла беззвучно. А секундомер шёл.

Где-то в темноте звали её по имени — сёстры, растерянные, оставшиеся без приборов, как без рук. Восемь детей

в восьми гаснущих кувезах. У неё было три секунды на то, чтобы решить, кто она теперь: женщина, у которой умирает дочь, — или та, кто умеет удержать восьмерых. Секундомер тикал. Он не спрашивал разрешения у неба, у сети, у точного времени — он просто шёл, как шёл сто лет, и в его упрямом ходе Вера услышала не память о деде, а приказ. Считай. Пока ты считаешь — ты держишь.

Она вырвала его из кармана. Щёлкнула. И перестала быть женщиной, у которой умирает ребёнок, — стала руками.



— Мешок! Дыхательный мешок, ручной, у каждого кувеза свой, ищите! Свечи, фонари, всё, что горит, — сюда! Даша, не реви, свети мне!

Кто-то принёс налобный фонарь, кто-то — толстую хозяйственную свечу, и в её качающемся свете блок стал похож на трюм тонущего корабля. Вера сорвала колпак кувеза, отсоединила мёртвую трубку, наложила крошечную маску на лицо Мии — с ладонь лицо — и сжала мешок.

Раз.

Грудная клетка поднялась. Опала.

Два.

И тут её руки задрожали.

Это было невозможно — руки Веры не дрожали никогда, руки Веры были той последней машиной, которой она ещё доверяла, — но сейчас, в темноте, без цифр, без экрана, который сказал бы ей, что она делает правильно, тело вспомни-

ло, чей это ребёнок. Ритм сбился. Она сжала слишком сильно, испугалась, сжала слишком слабо, и маленькая грудь дёрнулась не в такт, и паника поднялась снизу, из живота, туда, где живёт знание, и стала его выжигать. Цифры в голове рассыпались, как рассыпались они на умершем экране.

Ладонь легла ей на запястье.

Тимур. Он возник из темноты беззвучно — он всегда возникал беззвучно, — и не сказал ничего, потому что говорить было нечем и незачем. Он просто накрыл её руку своей и стал давать ритм. Нажим — отпуск. Нажим — отпуск. Ровно. Терпеливо. Так терпеливо, как умеет только тот, для кого тишина — не сегодняшняя катастрофа, а родной дом, где прожита вся жизнь и знаком каждый угол.

Он не слышал ни крика матери, ни падающего железа, ни хрипов в дальнем боксе. Для него ничего не рухнуло. Мир просто стал таким, каким был для него всегда, — миром без звука, где всё держится на глазах, на коже, на ритме, что идёт от одного тела к другому, из ладони в ладонь. И в этом мире он был не пациентом из неврологии, не мальчиком, которого лечат и жалеют. Он был спокоен, и покой его втекал через запястье в Верины руки, и руки вспоминали, что умеют.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.